

Оглавление

Предисловие, произнесенное появляющимся на пороге книги автором	3
Предисловие, произнесенное появившимся посредине книги автором	4
Глава I. Тептёлкин	5
Глава II. Детство и юность неизвестного поэта . . .	12
Глава III. Междусловие	23
Глава IV. Тептёлкин и неизвестный поэт	26
Глава V. Философия Асфоделиева	32
Глава VI. Генерал Голубец и корнет Ковалев	37
Глава VII. Книга Тептёлкина	41
Глава VIII. Неизвестный поэт и Тептёлкин ночью у окна	49
Глава IX. Поэт Сентябрь и неизвестный поэт	53
Глава X. Некоторые мои герои в 1921—1922 гг. . . .	60
Глава XI. Остров	73
Глава XII. Расцвет	89
Глава XIII. Осень	93
Глава XIV. После башни	95
Глава XV. Свои	99
Глава XVI. Вечер старинной музыки	106

Глава XVII. Путешествие с Асфоделиевым	116
Глава XVIII. Тептёлкину кажется, что за ним гонятся его друзья	121
Глава XIX. Междусловие	124
Глава XX. Появление фигуры	125
Глава XXI. Мучения	132
Глава XXII. Женитьба	141
Глава XXIII. Ночное блуждание Ковалева	147
Глава XXIV. Опытная мобилизация	153
Глава XXV. Под тополями	154
Глава XXVI.	161
Глава XXVII. Междусловие	163
Глава XXVIII. Тептёлкин и Марья Петровна	164
Глава XXIX. Костя Ротиков	171
Глава XXX. Черная весна	181
Глава XXXI. Неизвестный поэт	189
Глава XXXII. Миша Котиков	206
Глава XXXIII. Материалы	213
Глава XXXIV. Троицын	223
Глава XXXV. Междусловие	232
Глава XXXVI	233
Глава XXXVII. Смерть Марьи Петровны	245

Предисловие,
произнесенное появляющимся
на пороге книги автором

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек — и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек — и ты сам хуже гада; и по улицам не люди ходят: заглянешь под шляпку — змеиная голова; всмотришься в старушку — жаба сидит и животом движет. А молодые люди каждый с мечтой особенной: инженер обязательно хочет гавайскую музыку услышать, студент — поэффектнее повеситься, школьник — ребенком обзавестись, чтоб силу мужскую доказать. Зайдешь в магазин — бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается; войдешь в музей — водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя.

Предисловие,
произнесенное появившимся
посредине книги автором

Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. Покажешь ему гробик — сейчас постукает и узнает, из какого материала сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь гробик он изготавливает, просто страсть у него такая. Поведет носиком — трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготавливает, гвоздики закупает, кружев по случаю достает.

Глава I **Тептёлкин**

В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо — Тептёлкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тептёлкин огромные, ясные глаза свои — и тогда видел себя в пустыне.

Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевают в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой — и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают.

Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тептёлкина Марья Петровна Далма-

това. Одетая в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости. И когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство.

Но это бывало только иногда. Обычно Тептёлкин верил в глубокую неизменность человечества: возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена.

Все казалось Тептёлкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки, сгнивающих семян, среди уже возносящихся ростков.

Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы.

В семь часов вечера Тептёлкин вернулся с кипятком в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садись полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тептёлкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на второй улице Деревенской Бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные

песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним и упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной Далматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки.

Никто не знал, как Тептёлкин жаждал возрождения. «Жениться хочу», — часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с седеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшееся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженная, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь.

Она, подобно многим согражданам, любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганным атласом, ждала ее у подъезда, как она спу-

скалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету.

— Мальчишки, раскрыв рты, — рассказывала она, — глазели. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр.

При слове императорский нечто поэтическое просыпалось в Тептёлкине. Казалось ему — он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении югославского государства, об образовании взлетающей вновь Римской империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и среди академиков — он, Тептёлкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора идти в Политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, плыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева.

Тептёлкин поднимал свою седеющую, сухую голову и со злобой смотрел ей вслед.

«Никакого дворянского воспитания, — думал он. — Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает».

Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чаю, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным.

Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептёлкину: высокая, высокая башня, город спит, он, Тептёлкин, бодрствует. «Башня — это культура, — размышлял он, — на вершине культуры — стою я».

— Куда это вы все спешите, барышни? — спросил Тептёлкин, улыбаясь. — Отчего не заходите на наши собрания? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса: потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите.

Тептёлкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете.

Гулял ли Тептёлкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу, — всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно все существо Филострата, прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, униженные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептёлкиным.

«Смотри, — казалось Тептёлкину, говорил он, — следи, как Феникс умирает и возрождается».

И видел Тептёлкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся.

Пусть читатель не думает, что Тептёлкина автор не уважает и над Тептёлкиным смеется, напротив, может быть, Тептёлкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептёлкиным, не смог бы и дотронуться до Филострата. Как известно, существует раздвоенность сознания, может быть, такой раздвоенностью сознания и страдал Тептёлкин, и кто разберет, кто кому пригрезился — Филострат ли Тептёлкину или Тептёлкин Филострату.

Иногда Тептёлкина навещал сон: он сходит с высокой башни своей, прекрасная Венера стоит посередине пруда, шепчется длинная осока, восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи и прыгают по дорожкам. Он видит — Марья Петровна Далматова сидит на скамейке и читает Каллимаха и подымает полные любви очи.

— Средь ужаса и запустения живем мы, — говорит она.

Интермедия

На проспекте 25 Октября благовоспитанные молодые люди, Костя Ротиков

и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички.

В прежние времена в более поздний час не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после трех часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты и играющие задами женщины исчезали в соответствующих заведениях.

Но сейчас около девяти часов. По крайней мере часы на бывшей городской думе, а теперь на третьеразрядном кинематографе, показывают без десяти минут девять. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом, так, по крайней мере, казалось им.

Глава II

Детство и юность неизвестного поэта

1916 г. — На этом-то проспекте, на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным — и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньонной.

Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками, она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие шоколадом с пеной и двумя бисквитами, третьи — просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой под мышкой, проходя, обращались к ней на «ты» и, склонившись, шептали на ухо непристойность.

В этом кафе молодые люди мужского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зало.

Тогда зало переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония.

1907 г. — Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на Острова — в ландо, обитых синим или коричневым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп кучера, на коленях у матери лежали цветы или коробка конфет, мальчику было лет семь, любил он балет, любил он лысые головы сидящих впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душит платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки,

ждал, когда мама окончит одеваться, расчешет его локоны и поцелует.

1913 г. — Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным, красным солнцем. В соседней комнате топилась печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках.

После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвигаемыми полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птолемея, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств — некогда сиявших, народов — некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь несуществующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существу-

ющего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот взнесенная шеей голова Гелиоса с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все. Она, наверно, будет сопутствовать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековые, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт сквозь иную жизнь солнцем.

И все новые и новые появляются ящички.

Гувернер прочел всю газету. За окнами горят фонари.

— Пора, — говорит он, — не то мы опоздаем к обеду.

Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт.

Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную, как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествия во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате в столовую и горничная не забегала сказать:

— Кушать подано.

После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помеща-